Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://radischevalexander.ru/ Приятного чтения!

Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений.
Александр Николаевич Радищев

Часть первая Житие Федора Васильевича Ушакова
Алексею Михайловичу Кутузову

Не без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, воспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаяся в первый раз, производили в новой душе не стройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделывали. Беззаботный дух и разум неопытностию не претили в веселии распростираться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проницая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончавался веселия исступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение, и нечаянности приятность его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, воспомянешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби, и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего по крайней мере в твердости. Воспомяни, о мой друг! Федора Васильевича, сгораема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нельстивого своего врача и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения… Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподал им учение, какого во всем житии своем не возмог.

Таковые размышления побудили меня описать житие сотоварища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего.

Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах, но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.

Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в Сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасныя своея души. Ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проницая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена, главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольно времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, преходя все между стоящее.

Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностию и чтущие в человеке чин, а не человека, завидуя ему и предуказуя его возвышение, обучалися уже его почитать заранее; но сколь не равных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.

Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигской университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукам. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам,

избранным для отправления в Лейпцигской университет.

Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте, и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость, покровительству своего начальника, и да не подроет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот небрежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок далее возводят стяжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему, хотя одному, быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможет чужд быть родству, приязни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству, или ему служащих, сам по себе знает истинные заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), – все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю, в низком состоянии следуй начатому пути и предуспеешь.

Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца; неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоем имя твое будет забыто. Вместо того, что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не воспомянут, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения, отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. – Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почесться могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.

Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старалися отвратить его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение, но все старания их были тщетны. Полагаяся твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич пребыл непоколебим в своем намерении и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей ему уже давало в обществе, стал неопытный юноша или паче дитя, преклоняяся в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях. Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однако же, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большом свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.

Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается, и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как-то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог

весть что употреблено было от просителей на снискание благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно езжал он по вечерам в собрания малые и большие, на балы, маскерады, ужины, где нередко просиживал за карточною игрою до полуночи, а иногда и гораздо позже. Возвращался домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастия, заставало его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.

В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые, в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе, забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своея на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:

Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до пятого часа утра и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилося, что лежал он в объятиях прекрасной жены, упоенный сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестныя сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее виденной им во сне зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания, с улыбкой страсти и гласом сирены – «Извините меня, государь мой, – сказала просительница, – что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятныя мечты возлюбленной». И проницала вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, колико обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возничения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в предстательстве Федора Васильевича, провидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и преуспела.

О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалей, если хочешь, о моей слабости, но се истина.

Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здравия и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных услаждений.

Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге, то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало.

В продолжение нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть путеводителя нашего, и самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что Бокум его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал путеводитель наш помышлять, как бы погубить его. Но дивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или, лучше сказать, единое напоминовение справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуяся уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника [1] есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти, теснящая дух и разум и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под

личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвециево о сем мнение ежечасно подтверждается.

Привлекши на себя ненависть путеводителя нашего, Федор Васильевич не возмутился сею мыслию, ибо что вещал ему, то была истина. Бокум рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему. Федор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи: довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.

Первой случай к несогласию нашему с нашим путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначащее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Таковое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, востревожило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастию нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за таковую малость; но самого умереннейшего человека заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, кольми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъявить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою Бокума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, и кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами.

Но не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалася иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.

Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях и от повторяемых оскорблений стали, наконец, презирать его власть. Если бы желание учения не остановляло нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был Федор Васильевич. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронырливым, или коварным, или вспыльчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготовлялися мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашея жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.

Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастие. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может, ибо дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, воззрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предпринятом путешествии, но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали, то не имел он, однако же, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи, вне зримой округи лежащие, возносится на крылиях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлениям приличных. И так Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия.

Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах

долженствовали быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалося взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застращен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, – азбучной учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избегнуть его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.

Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по-латыне, по-гречески и несколько по-еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподанного, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.

Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах) – исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если воспомнишь, мой друг, сколь нестройной, несогласной и шумной у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и, наконец, устроенное на приучение ко благоговению превратилося постепенно в шутку и посмеялище.

Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалося ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилося ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно князя Трубецкого, поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение, большею частию зажмурившись.

В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сим Михаил Ушаков, человек шутливой и проказливой, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.

Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла в верху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел, зажмурившись. М. Ушаков, взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и, согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов растворил зажмурившиеся глаза свои, и первое представилася ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.

Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обретал в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл неграмматикально, может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах М. Ушаков, будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. Ушаков, схватив висящую на стене шпагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирской офицер». В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. Ушакова мнимою победою, а для отца Павла отъитием с негодованием в свою комнату.

Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное

пренебрежение. Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за налоем и преподавал нам толкование о чтенном того дня Евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во Благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в Священном писании разумеется под ангелом божиим. «Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев». Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга, с некоторыми приказаниями, курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера, и все захохотали громко. Отец Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал: «Аминь».

Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от оного отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.

Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.

Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темницы, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь, господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почила сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.

Первое, с чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домостроительство было тому причиною: что он отчислял от нашего содержания, то удвоял во своем, и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первой был Федор Васильевич, делали ему весьма краткие представления гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французской, говоря своему народу: «В том состоит наше удовольствие».

Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку князя Трубецкого, он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуяся таковым наглым поступком, он грозил посаженному под стражу, и нам за ним, если не уймемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до исступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины князя Трубецкого и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу

признательность отпущением вины сотоварища нашего в уважение нашея просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.

Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятии и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема; а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.

Бокум оного не удалял. Причина нашего неудовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.

Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по нескольку собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания, кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как-то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию; но не они к возрождению оного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были оного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.

Один из нашего общества, Насакин, не получал из дому своего ни копейки и для того претерпевал более других нужду. В помянутую зиму не в силах более терпеть холода ради болезненного расположения тела, решился сделать гофмейстеру представление. Бокума он нашел играющим на биллиарде с некоим из его единоземцев и главным подстрекателем [2] его надменности. Насакин объявил ему о своем недостатке, прося дать приказание истопить его горницу. За день сего Бокум посадил под стражу князя Трубецкого, который был комнатный товарищ Насакина. На отказ, сделанный Бокумом, Насакин сделал возражение, а Бокум, не хотя оного слушать, а особливо при напоминателе о его власти, оставив свою игру, начал пришедшего толкать неучтиво; а как сей тому противился и, к нему обернувшись, говорил, что требование его о сем справедливо, то Бокум, и паче того раздраженный, ударил Насакина по щеке. Сей мнимый отчасти знак бесчестия столь сильно обезоружил Насакина, что он, не сказав более начальнику нашему ни слова, поклонился и вышел вон.

Отрада несчастному есть убежище на лоне дружбы, беседование о скорби своей. И возвестил нам обиженный о происшедшем с ним. Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение, но скоро к тому присовокупилось и негодование. Всяк боялся такой же участи; иной мечтал уже следствие своего отчаяния в таком случае, другой, изумленный предварительно таковою мыслию, находился в нерешимости, что должно будет ему сделать, если на него падет жребий, равный с Насакиным. Но все единогласно положили, что Бокум, сделав поступок противный не только добрым нравам, но и благопристойности, долженствовал сделать Насакину удовлетворение за обиду. В общежитии, говорил нам Федор Васильевич, если таковой случай произойдет, то оный не иначе заглажен быть может, как кровию. Сие говорил он из опытов и подкреплял примерами, но ни он, ни мы не понимали еще всей гнусности поединков в благоучрежденном обществе и, вождаемые примерами, судили, что настоял бы и теперь к оному случай, если бы дело должно было иметь с посторонним человеком, а не с начальником нашим.

Мы в то время начали только слушать преподавания права естественного и, не объяв еще всю оного связь, остановились при первых движениях, производимых в человеке оскорблением. Не имея в шествии своем ни малейшия преграды, человек в естественном положении при совершении оскорбления, влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления. От сего рождается мщение, или древний закон «око за око»; закон, ощущаемый человеком всечасно, но

загражденный и умеряемый законом гражданским. Несовершенное еще расположение мыслей представило уму нашему в естественном нас положении в отношении нашего начальника, и мы заключили, что Насакин долженствовал возвратить Бокуму полученную им пощечину.

Заключительной и общий наш приговор был таков, что Насакин должен идти к Бокуму и в присутствии нашем требовать от него в обиде своей удовлетворения. Если же он не восхочет того исполнить, то надлежит ему пощечину Бокуму возвратить. Долго Насакин размышлял, колебался, не мог решиться на сей поступок; но мы приговор наш подкрепили тем, что если он сего не исполнит, то лишен будет нашея приязни и обхождения с нами. Ничто столь сильного и столь скорого не могло произвести действия в душе оскорбленной Насакина, как наша угроза. Если бы приговор наш был в противную сторону, то он, да и всякий из нас, и кто бы то ни было, в равном токмо с нами положении, терпеливо бы принял еще десять пощечин, нежели бы захотел прийти в презрение у своих сотоварищей.

Собравшися и условившись, каким образом долженствовал Насакин требовать от Бокума удовольствия в обиде ему сделанной, мы пошли к нему, исключая князя Трубецкого, который сидел под стражею.

В комнате, где бывала обыкновенная наша трапеза, дожидались мы его, послав его известить, что мы желаем его видеть. Едва он вошел в комнату, как началось действие, которое при первом шаге нашего жития могло бы превратным жребием ввергнуть нас в совершенную гибель. Столь юность без советов дружества сама себе губительна! Но провидение бдело над нами, ибо превратности в сердце нашем не зрело; и для того щит его носится всегда над неопытностию и блюдет ее в самой пропасти.

Вследствие сделанного между нами положения Насакин, подступив к Бокуму, просил от него удовлетворения в обиде. Приятнее, может быть, будет читателю, приятнее тебе, мой любезный друг, если я употреблю здесь самые почти те слова, которые в то время были изречены; они были кратки, как и действие было мгновенно.

Насакин. Вы меня обидели, и теперь пришел я требовать от вас удовольствия.

Бокум. За какую обиду и какое удовольствие?

Н. Вы мне дали пощечину.

Б. Неправда, извольте идти вон.

Н. А если не так, то вот она, и другая.

Сие говоря, Насакин Бокума ударил и повторил удар.

Опасаясь дальнейшего следствия, Бокум вышел из горницы. Писарь Бокумов, бывший тогда с нами, вообразив себе, что Насакин хочет господина его заколоть, ибо имел при себе шпагу, оторвал у него ее с бедры, за что он был наказан только тем, что М. Ушаков снял с него парик. Но причина, для коей Насакин имел при себе шпагу, была иная; он был в гостях и пришед не имел времени раздеться, и на сражение пришел со шляпою и шпагою; но Бокум в обвинении своем не пропустил сего обстоятельства и сказал, что мы, а паче Насакин, покушались на его жизнь и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он нас, как ребят, разогнал и раскидал. Итак, в самой клевете, не забывал он хвастовства и никогда не признался, что Насакин возвратил пощечину с лихвою.

Но если бы вздумали располагать великость вины по оружию, которое кто имел, то никого не надлежало обвинить более других, как меня. Ибо у меня были в то время карманные пистолеты, заряженные с дробью, которые я, купив за день пред сим происшествием, зарядил и хотел идти испытать оных действие в определенном к тому месте, но, по счастию, меня тогда не обыскали. Из сего глупыя юности происшествия могло бы произойти, признаюся охотно, что-либо слезное и несмешное, если бы Бокум имел кого-либо при себе, опричь старого своего писаря; и если бы, вождаем мыслию, что мы умышляли убить его, стал бы на нас наступать. В жару исступления чего не могло бы случиться, но, к счастию, М. Ушаков двери запер, и на крик старого писаря никто войти не мог.

По совершении нашего приступа мы, почитая его правильным поступком, заявили о

нем университетскому ректору. Возвратяся от него, души наши покойны не были. Мы чувствовали наш проступок, но чувствовали и тягость нашего положения, и на весах правосудия мы осуждены бы быть не могли. Но всякий судия есть человек, нередко вождается внешностию.

Я ныне еще трепещу, воспоминая о намерении нашем при сем происшествии. Мы рассуждали, что наш поступок, конечно, не одобрят, что Бокум расцветит его тусклыми красками клеветы, что, если посадил под стражу за маловажный поступок, может сделать над нами еще более, и мы возвращены будем в Россию для наказания, а более того на посмеяние; и для того многие из нас намерение положили оставить тайно Лейпциг, пробраться в Голландию или Англию, а оттуда, сыскав случай, ехать в Ост-Индию или Америку. Таковы могли быть следствия безрассудной строгости начальника и неопытной юности. Но Бокум предварил умышляемому нами побегу, и не прошло получаса, как он, испросив от тамошнего военного начальника солдат вооруженных, посадил нас под стражу каждого в своей комнате.

В сем тягчительном для нас положении мы прибегнули к российскому в Дрездене министру, описав ему случившееся во всей подробности; но письмо наше до него не дошло, как то мы после того узнали, ибо Бокум тамошнему правительству сказал ложно, что ему велено было все наши письма останавливать и не прежде отправлять в Россию, как он уведомлен будет о их содержании. Таким образом, ни министр нашего двора в Дрездене, ни в Петербурге не могли быть известны о истинном нашем положении, сколько мы о том ни писали. Когда же нашелся человек, нас довольно любящий, из сожаления единственно и на своем иждивении отправившийся в Россию для извещения, кого должно, о происшедшем с нами, то о всем было от министра нашего по представлениям Бокума предварено, и жалобе нашей не внято.

Но я могу тебе наскучить, мой любезный друг, рассказывая о том, что тебе столь же известно, как мне; и для того заключу повествование о сем неприятном тогда для нас происшествии, но, по истине сказать, преподавшем нам много нравоучения деятельно. Намерение мое было показать только то, сколь много ошибаются начальники в употреблении своей власти и коликой вред причиняют безвременною и безрассудною строгостию. Если бы мы исполнили наше намерение и ушли бы из Лейпцига, вообрази, колико горести навлекли бы мы нашим родителям, друзьям, да и всем сердцам, юность возлюбляющим. Если бы государство изгнанием добровольным десяти граждан ничего, казалося, не потеряло, но отечество потеряло бы, конечно, искренно любящих его сынов. Буде кто захочет на сие доказательства, то не дам никакого; но тебе только, мой друг, воспомяну о возвращении нашем в Россию. Воспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило. О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смирив его, нередко навеки соделаете калекою.

Под стражею содержимы были мы как государственные преступники или отчаянные убийцы. Не токмо отобраны были у нас шпаги, но рапиры, ножи, ножницы, перочинные ножички, и когда приносили нам кушанье, то оно было нарезано кусками, ибо не было при оном ни ножей, ни вилок. Окончины были заколочены, оставлено токмо одно малое отверстие на возобновление воздуха, часовой сидел у нас в предспальной комнате и мог видеть нас лежащих на постеле, ибо дверь в спальную нашу была вынута.

Невзирая на все предосторожности, чтобы воспретить нам между собою сообщение и чтобы мы не могли известить министра нашего о нашем положении, ибо сие и была причина строгого нашего содержания под стражею, мы написали письмо и подписали его все своеручно. Никого к нам не допускали, сидели мы по двое вместе, и потому странно покажется, что все могли подписать письмо. Способ мы к тому употребили особый, и да знают удручители, что не редко строгость их бывает осмеяна в самом том, в чем они усугубляют оную.

Дом, в котором мы жительствовали, был в два жилья и имел четыре отделения вверху

и четыре внизу, в каждом отделении было по две комнаты, и мы жили по двое вместе. Шестеро из нас жили вверху и четверо внизу, прочие комнаты занимали учители наши. Письмо написано было Федором Васильевичем. Привязав его на длинную нитку, выпускали его за окно; способный ветр приносил его к отверстию другого окна, в которое оно было приемлемо, и по подписании тем же способом доставляли его в другую комнату; таким образом, мы умели на пользу нашу употребить самые силы естества. На почту относимы письма наши были одним из наших учителей, который из единого человеколюбия жертвовал всем своим тогдашним счастием и отправился в Россию для нашего защищения, взяв от нас на дорогу одни карманные часы, в чем состояло все тогдашнее наше богатство; но в предприятии своем не успел, как то я сказал уже прежде. Великодушный муж! Никто из нас не мог тебе за то воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах.

Не довольствуяся тем, что посадил нас под стражу, Бокум испросил от совета университетского, чтобы над нами произвели суд. К допросам возили нас скрытным образом, и судопроизводство было похоже на то, какое бывало в инквизициях или в тайной канцелярии, исключая телесные наказания. Решение сего суда было, что ты и я, Янов и Рубановский были освобождены, а прочие, между которыми был Федор Васильевич, остались еще под стражею, но скоро были освобождены по повелению нашего министра. Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, что министр, приехав в Лейпциг, нас с Бокумом помирил, и с того времени жили мы с ним почти как ему не подвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле и не видали его месяца по два.

Случилося во время нашего пребывания в Лейпциге проезжать чрез оный генерал-поручику и бывшему потом сенатором Н. Е. Муравьеву с супругою своею. Сотовариществовал ему в путешествии шурин его, гвардии офицер, человек молодой, любящий шутку безвредную, и охотно смеялся насчет глупцов. Совершенно такового нашел он в нашем гофмейстере. Он, пользуясь пристрастием его к хвастовству, вывел его, по пословице, на свежую воду. До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вменял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги, с Бовою равные, то были удальства другого рода, достойные помещения в Дон-Кишотовых странствованиях.

Помянутой гвардии офицер, подстрекая самолюбие Бокума, довел его до того, что он для доказательства своих телесных сил выпивал по его приказанию одним разом по нескольку бутылок воды или пива, давал себя толкать многим лакеям вдруг, упираяся против их усилия совлещи его с места, а сим приказано было не жалеть своих толчков, дивяся о своем против его малосилии, но сего не довольно было. Он его заставил ворочать всякие тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умеряя и не скрывая своего смеха: «Ну, Бокум!»

Примечания достойно, до коликой степени слабость сия в человеке возрасти может, и нередко она в общежитии бывает разными нечаянными случаями поддерживаема и возвышаема. Бокум доведен был до того, что согласился вытерпливать удары довольно сильного электрического орудия. Сперва удары электрической силы были умеренны, и дабы его убедить самого в превосходстве его сил, удары производимы были над многими вдруг. Все по предварительному условию, будто от жестокости удара, падали на землю, он один оставался непоколебим, торжествуя въявь над падающими. Уверив таким образом его самого в превосходстве его сил, удары электрического орудия становилися сильнее, он выдерживал их, не показывая, сколь они для него болезненны; сила ударов столь, наконец, была велика, что едва его с ног не сшибала.

Таковые подвиги производилися ежедневно во все время пребывания сказанных путешественников в Лейпциге. Мы были непрестанные оных зрители, и презрение наше к Бокуму с того времени стало совершенное.

Отправление российских морских сил в Архипелаг, в последнюю войну между Россией и Турцией, доставило нам в Лейпциге случай видеть многих наших соотчичей, проезжавших из России в Италию и оттуда в Россию. Некто (имя его утаю, дабы не произвести в лице его краски стыда или бледности раскаяния), некто в проезд свой чрез Лейпциг оказывал отличное уважение Федору Васильевичу и снискать хотел его дружбу. Последствие показало, сколь мало она была искренна и продолжалася не более, как пребывание в Лейпциге сего мечтанного покровителя учености. Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтобы Федор Васильевич не был с Ф…, вместе упражняяся в рассуждениях большею частию метафизических. Он делал ему уверения, что извлечет его из руки отягощения,

обещевая ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы, Федор Васильевич отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалося, обновился в нем, но скоро сбылася с ним французская пословица: «отсутствующие всегда виноваты». Едва сказанной покровитель уехал из Лейпцига, как забыл Федора Васильевича и деланные ему обещания, да и столь совершенно, что на все письма его не ответствовал ему ни слова. Или ему низко было вступать в переписку с неравным ему состоянием; или благодарить надлежит за то наукам, что среди обиталища их различие состояний нечувствительно и взоров природного равенства не тягчит, и для того в Лейпциге Ф… обходился с Федором Васильевичем как с равным себе. И поистине равен он был тебе, мразная душа, силами разума, но далеко превышал тебя добротою сердца.

Сие происшествие оставило в душе Федора Васильевича некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его; посеяло в душе его справедливую недоверчивость к обещаниям, наипаче знатных, и понудило его вдаться еще более учению, от коего единственный ожидал он себе отрады; в чем он и не ошибался. Ибо желание науки, хотя не навсегда, но паки развеяло темноту грусти, и истина светом своим награждала ему за его скорбь.

Признаться надлежит, что Ф… присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами возбудил как в Федоре Васильевиче, так и во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу Гельвециеву «О разуме». Ф… толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, да других, может быть, и не знал. По его совету Федор Васильевич и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием, и в оной мыслить научалися. Лестна всякому сочинителю похвала иногда и невежды, но Гельвеций, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить [3] училося. В сем отношении сочинение его немалую может всегда приносить пользу.

Предоставленный сам себе и полагая единственное упование на правосудие государя своего, восчувствовал Федор Васильевич к предстателям мерзение. Он устремил все силы свои и помышления на снискание науки, и в том было единственное его почти упражнение. Сие упорное прилежание к учению ускорило, может быть, его кончину. За год пред смертию приключилась ему болезнь, которая была, можно сказать, преддверием другой, введшей его во гроб. Употребляя действительные и мощные лекарства, он не покидал, вопреки совету своего врача, упражняться денноночно в чтении и в сие время начал писать о книге Гельвециевой письма, коих найдены после него только касающиеся до начала первой книги сочинения «О разуме». Упорным своим к учению прилежанием он остановил в крови своей смертоносной болезни жало, которое следующей весною, воссвирепствовав снова, отверзло ему врата смерти.

Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника и, ради мерзости своея или изящности ради, равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин, – все славны, все живут на памяти потомства и не возмущаются тем, что о них мыслят. Не тревожился бы и всяк любящий человечество, если бы добрая или худая слава по смерти во что-либо вменялась; но по несчастию всех, имеяй власть в руках мало рачит о том, что о нем скажут живу ему сущу, и не помышляет нимало о том, что скажут о нем по смерти. Он ищет токмо ободрения своего самолюбия и стяжания своей пользы. Не тревожился Юлий Кесарь о том, что прослывет государственным татем, когда похищал общественную казну, не тревожился Ла, что прослывет общественным злодеем, вводя во Францию мнимое богатство, которое, существовав одно мгновение, повергло часть государства в нищету; не тревожился Лудвиг XIV в величании своем, оставит ли потомство ему титло великого, которое в живых ему прилагало ласкательство; не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками в отношении тех, которых неприятелями именуют, вчиняя войну и предавая смерти тысячи воинов.

Сказав сие, может быть, некстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюся отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях и с равным вкусом читающих Квинта Курция и Серванта, но для тех, коих души отверсты на любление юности.

Нам предписано было учиться всем частям философии и правам, присовокупя к оным учение нужных языков, но Федор Васильевич думал, что не излишне для него будет

иметь понятие и о других частях учености, и для того имел он в разных частях учителей, платя им за преподавание их собственные свои деньги. При сих способах для приобретения разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг.

Сие располагал он всегда соответственно тому, что преподаваемо нам было в коллегиях [4] . Итак, когда, по общему школьному обыкновению, начали нас учить прежде всего логике, то Федор Васильевич читал Арново искусство мыслить и основания философии С. Травезанда и, соображая их мнения со мнениями своего учителя, старался отыскать истину в среде различия оных.

Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, Федор Васильевич отменно прилежал к латинскому языку. Сверх обыкновенных лекций имел он особые. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставало его беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругость своея души изъявили в своем речении. Не льстец Августов и не лизорук Меценатов прельщали его, но Цицерон, гремящий против Катилины, и колкой сатирик, не щадящий Нерона. Если бы смерть тебя не восхитила из среды друзей твоих, ты, конечно, о бодрственная душа, прилепился бы к языку сих гордых островитян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей, царю своему жизнь отъяти покусилися судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследного своего царя, избрав на управление постороннего; кои при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовати державной власти и оную побеждать законно.

Между разными науками, коих основания алчная Федора Васильевича душа пожрать, так сказать, хотела вдруг, отменно прилепился он к мафематике. Сходствуя с расположением его разума, точность сей науки услаждала его рассудок. С какою жадностию он проходил все части сей в началах своих столь отвратительныя, так сказать, науки, но столь общеполезной в ее употреблении! Свойственно душе Федора Васильевича было мыслить, что огромнейшие в мире телеса, наиотдаленнейшие от нашего обиталища, коих единое наше зрение, сие наивластительнейшее и великолепнейшее из чувств наших, может постигать при вспоможениях, человеком изобретенных, что сии малейшие точки во зрении, необъятные в действительности громады, повинуются в течении своем исчислению. И как не возгордиться человеку во бренности своей, подчиняя власти своей звук, свет, гром, молнию, лучи солнечные, двигая тяжести необъятные, досязая дальнейших пределов вселенныя, постигая и предузнавая будущее. Таковые размышления побудили некогда сказать Архимеда: если бы возможно было иметь вне земли опору неподвижную, то бы он землю превратил в ее течении. «Дай мне вещество и движение, и мир созижду», – вещал Декарт. Таковые размышления составили все системы о мире, все правдоподобия о нем и все нелепости.

За счастию почесть можно, если удостоишься в течение жития своего беседовати с мужем, в мире прославившимся; удовольствием почитаем, если видим и отличившегося злодея, но отличным счастием почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастием пользовалися мы, хотя не долгое время, в Лейпциге, наслаждаяся преподаваниями в словесных науках известного Геллерта. Ты не позабыл, мой друг, что Федор Васильевич из всех нас был любезнейший Геллертов ученик и что удостоился в сочинениях своих поправляем быть сим славным мужем. Малое знание тогда немецкого языка лишило нас пользоваться его наставлениями самым действием; ибо хотя мы слушателями были его преподаваний, но недостаток в знании немецкого языка препятствовал нам равняться с Федором Васильевичем.

Вращаяся всечасно между разными предметами разумения человеческого, невозможно было, чтобы в учении разум Федора Васильевича пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражняяся только в исследовании мнений чуждых. Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные. Деятельность есть знаменующая их отличность, и в них-то сродное человеку беспокойствие становится явно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до пределов даже невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану, бога.

Федор Васильевич, упражняяся в размышлениях о вещах, видел возрождающиеся в разуме его мысли, отличные новостию своею от обретаемых им на пути учености, и для того не мог оставаться в бездействии. Скоро подан был ему случай испытать свои силы в изображении связию своих мыслей. Ежегодно бывал нам экзамен, или испытание о приобретениях наших в учении. Сколь много все таковые испытания имеют смешного и цели, для коей они установлены, не досязающего, всяк, ведающий о них до пряма, признается. Нередко тот, кто более всех знает, почитается невеждою и ленивым, хотя трудится наиприлежнейше и с успехом. Но тем экзамены полезны, что возбуждают тщеславие и устремляют учащегося отличаться пред сотоварищами своими; но дабы и в сем случае не возбуждать тщеславия безуспешно, то нужно, чтобы таковые испытания не были редки, дабы возникшая страсть в обыкновенных душах не угасала. Для назначенных же перстом всевечным к бессмертию в посторонних подстреканиях любочестия нужды нет. Они сами в себе довольно имеют ко стяжанию славы побуждения, и хотя оные небескорыстны, но умовенны всегда в благом источнике.

По прошествии трех лет обязаны мы были к наступившему для нас времени на испытание показать наши успехи в учении, представя письменно связь мыслей о какой-либо материи. Федор Васильевич избрал для сего наиважнейшие предметы, до человека касающиеся в гражданском его отношении.

Человек, живущий в обществе под сению законов для своего спокойствия, зрит мгновенно силу общую, доднесь ему покровительствовавшую, возникающую на его погубление. Друзья его до сего дня, сограждане его возлюбленные, становятся его враги, преследуют ему, и рука сильного подавляет слабого, томит его в оковах и темнице, отдает его на поругание и смерть. Что может оправдать таковое свирепство? Сие-то намерен показать Федор Васильевич в сочинении своем, разыскав следующие задачи:

1. На чем основано право наказания?

2. Кому оное принадлежит?

3. Смертная казнь нужна и полезна ли в государстве?

Цель, для коей он писал сие, не позволяла ему распространиться, но все, что можно сказать в оправдание несчастного права казни, и все, что может ее представить вероятно справедливою, того Федор Васильевич не проронил. Связь его мыслей есть следующая.

Показав, что человек, ощущая себя слабым на удовлетворение своих недостатков в единственном положении, следуя чувствительному своему сложению, для сохранности своей вступает в общество. Дабы общество направляемо было всегда ко благому концу, условием изъявительным или предполагаемым поставляется власть, могущая сие производить и отвращать зло, которое бы могло причинено быть обществу. Лице, власть сию имеющее, именуют государем в единственном и соборном лице. Следственно, тот, кто долг имеет пещися о благе общества, имеет право не дозволять и препятствовать вредить ему; следственно, что тот, что поставляет власть для своего блага, согласуется повиноваться и ее прещению, когда деянии его от благой цели устраняются. Показав, что при определении наказаний иной цели иметь не можно, как исправление преступника или действие примера для воздержания от будущего преступления, Федор Васильевич доказывает ясными доводами, что смертная казнь в обществе не токмо не нужна, но и бесполезна. Сие, ныне почти общеприемлемое правило, утверждает он примером России. Я не намерен преследовать Федору Васильевичу в рассуждениях его. Изображая их здесь, могу или отъять силу его доводов, или только оные распространить без нужды. Тому и другому предварить можно, читая его сочинение, которое ясностию мыслей, краткостию слога и твердостию доводов заставит всякого потужить о безвременной кончине сочинителя на двадцать третьем году его возраста.

Опричь малого сочинения о любви и писем о Гельвециевой книге «О разуме», ничего более не найдено в бумагах Федора Васильевича. Выписки из многих книг, хотя без связи, доказывают, что он располагал свое чтение со вниманием. Кто может определить, что с ним потеряло общество? Определить могу я, что потерял друга; но если судьба позавидовала тогда моему блаженству, наградила она меня с избытком, дав мне, мой друг, тебя.

Последнее время жития своего среди терзания болезни и грусти, от нее рождающейся, Федор Васильевич не забыл учения, и разве истощение сил отвлекало его от упражнения в науке. Наконец наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение. За неделю еще пред кончиною своею ходил он с нами на гулянье и наслаждался еще беседою любящих его, но силы его, ослабев, принудили лечь в постелю. Надежда, сие утешительное чувствие в человеке, не покидала его; но за три дни до кончины своея почувствовал он во внутренности своей болезнь несказанную, конечное разрушение тела его предвещающую. Не хотел он пребыть в неведении, призвав своего врача, на искусство коего он справедливо во всем полагался, просил его прилежно, да объявит ему истину, есть ли еще возможность дать ему облегчение, и да не льстит ему напрасною надеждою исцеления, буде само естество положило уже тому преграду. «Не мни, – вещал зрящий кончину своего шествия, томным хотя гласом, но мужественно, – не мни, что, возвещая мне смерть, востревожишь меня безвременно или дух мой приведешь в трепет. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностию!»

Долго человеколюбивый врач колебался в мыслях своих, откроет ли ему грозную тайну, ведая, что утешение страждущего есть надежда и что она не покидает человека до последнего издыхания. Но, видя упорное желание в больном ведать истину о своей болезни и понимая его нетрепетность, возвестил ему, что силы его не более одних суток противиться возмогут свирепости болезни, что завтра он жизни не пребудет уже причастен.

Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умреть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть на сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последния минуты и крепит дух. Нередко таковый зрит и за предел гроба и чает возродиться. Когда же в человеке истощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто, нисходя во гроб, за оным ничего не видит. Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно с умирающим нетрепетно по долговременной болезни на одре своем и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?

Услыша приговор свой из уст врача, Федор Васильевич не востревожился нимало, но, взяв руку его, «нелицемерной твой ответ, – сказал он ему, – почитаю истинным знаком твоея дружбы. Прости в последний раз и оставь меня».

Удостоверенный в близкой кончине своей, Федор Васильевич велел нас всех позвать к себе, да последнюю совершит с нами беседу. «Друзья мои, – вещал он нам, стоящим около его постели, – час приспел, да расстанемся: простите, но простите навеки». Рыдающих облобызал и, не хотев более о сем грустити, выслал всех вон.

Осьмнадцать лет уже совершилося, как мы лишилися Федора Васильевича, но, мой друг, сколь скоро вспомню о нем, то последнее его с нами свидание столь живо существует в моем воображении, что то же и днесь чувствую, что чувствовал тогда. Сердце мое толико уязвлено было тогда скорбию, что впоследствии ни исступление радости и утех, ни величайшая печаль потерянием возлюбленной супруги не истребило чувствование прежния печали.

Спустя несколько времени он призвал меня к себе и вручил мне все свои бумаги. «Употреби их, – говорил он мне, – как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть тверду в мыслях, дабы умирать бестрепетно». Слезы и рыдание были ему в ответ, но слова его громко раздалися в моей душе и неизгладимою чертою ознаменовалися на памяти. Поживут они всецелы, доколе дыхание в груди моей не исчезнет и не охладеет в жилах кровь. Даждь небо, да мысль присутственна мне будет в преддверии гроба, и да возмогу важное сынам моим оставить наследие, последнее завещание умирающего вождя моея юности, и живого да оставлю им в вожди друга любезнейшего, друга моего сердца, тебя.

Что после сего последовало, тебе, мой друг, более известно, нежели кому другому. Ты последние часы был при нем безотлучен, ты был свидетелем последнего вздымания его груди. Скажи, мой друг, почто и я тут не был. Или слабость моего здоровья, или нетвердость духа, или какая другая причина отлучила меня от умирающего и

воспретила мне видеть последние черты его жизни и прехождение ее во смерть. Но ко всем сим причинам совокупно было и недозволение на то умирающего. Или столь мал был жар дружбы в сердце моем, что я не преступил его веления. О мой друг! в минуты благоденствия, когда разум ничем не упрекает сердцу, мысль сия тягчит меня, и я мал становлюся перед собою.

Предвещание врача начало совершаться. Доселе нечувствительным покатом состав жизни спускался ко смерти, но вдруг она повлекла его всесильною рукою. За несколько часов пред кончиною Федор Васильевич почувствовал во внутренности своей болезнь несносную, возвещающую ему отшествие жизни. Доселе уста его не испускали жалобного стона, но, скорбь одолев сопротивлением, страждущий вскричал содрогающимся гласом. Знаки антонова огня, внутренность его объявшего, начали казаться на поверхности тела; в окрестностях желудка видны были черные пятна. Терзаемый паче всякого истязания, суеверием или мучительством на казнь невинности изобретаемого, прибегнул Федор Васильевич к тебе, мой друг, да скончаешь его болезнь, – болезнь, а не жизнь скончати называю, ибо врата кончины ему уже были отверсты. Тебя, мой друг, просил он, да будешь его при издыхании благодетель и дашь ему яду, да скоро пресечется его терзание. Ты сего не исполнил, и я был в приговоре, да не исполнится требование умирающего. Но почто толикая в нас была робость? Или боялися мы почесться убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляяй страждущего от конечного бедствия или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нелживым признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно или продлится она в нем на час еще един; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. Мы потерять его были уже осуждены. Скажет некто, что врач мог ошибиться. Согласен; но болящий не ошибался в мучении своем и прав был, желая скончания оного, а мы не правы, дав оному продолжиться.

Мой друг, ты укоснил дать помощь Федору Васильевичу, но не избавился вперед, может быть, от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стенящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемуся и ее возненавидевшему.

Наконец, естественным склонением к разрушению, пресеклась жизнь Федора Васильевича. Он был, и его не стало. Из миллионов единый исторгнутый неприметен в обращении миров. Хотя не можно о нем сказать во всем пространстве, как некогда Тацит говорил о Агриколе и Даламбер о Монтескью: «Конец жизни его для нас скорбен, для отечества печален, чуждым и даже неизвестным не без прискорбия». Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал Федора Васильевича, жалел о безвременной его кончине, тот, кто провидит в темноту будущего и уразумеет, что бы он мог быть в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем; друзья его о нем восплакали; а ты, если можешь днесь внимать гласу стенящего, приникни, о возлюбленный, к душе моей, ты в ней увидишь себя живого.

Конец первой части.

Часть вторая Размышлении
1. О ПРАВЕ НАКАЗАНИЯ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

2. О ЛЮБВИ.

3. ПИСЬМЫ О ПЕРВОЙ КНИГЕ ГЕЛЬВЕЦИЕВА СОЧИНЕНИЯ «О РАЗУМЕ».

Разыскание следующих вопросов:
1. На чем основывается право наказания?

2. Кому оное принадлежит?

3. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то есть в обществе людей, законами управляемом?

Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о наказании . Я под оным разумею зло, соделываемое начальником преступнику закона . Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие-то я и намерен разыскать столь кратко, сколько то возможно по существу самой вещи и по намерению сего сочинения.

Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то узрим его самовластным судиею своих определений. Если мы рассмотрим его существо, то найдем его одаренного понятием (то есть свойством составлять идеи и оные сравнивать) и физическою или телесною чувствительностию. Понятие делает его удобным ко блаженству, то есть определять хотение свое сходственно со своим благосостоянием; телесная чувствительность повещает ему о его надобностях и показует ему способы, удобнейшие к удовлетворению оным. Любовь самого себя или своего благосостояния есть основание всех человеческих деяний. Сие чувство, природою в нас впечатленное, есть всеобщее и для того не требовало бы доводов, но случается, что наипростейшие и яснейшие истины подвергаются иногда сомнениям. Для того я дам оному доказательство, на самом существе нашего понятия основанное.

Всякое понятием одаренное существо имеет чувство о своем существовании, ибо кто чувствует, тот не может быть бесчувствен. Следственно, он может предпочесть состояние пребывания другому состоянию пребывания, то есть почитать одно счастливее другого; но предпочитать одно состояние другому есть то же, что определять свое хотение и избирать состояние пребывания, счастливейшим почитаемое, – суть одинаковые вещи. Из сего следует, что все права и должности человека из сего проистекают начала и все оному без изъятия суть подчинены. Оттуда право защищать себя или отвращая обиду, или награждая ущерб, или предупреждая своего злодея, если случится быть в грозящей опасности или уверенному о злодейском намерении своего противника. Ибо имеющий право к цели имеет неотменно право к способам позволительным; итак, старание о своей сохранности, будучи средством необходимым для пребывания во благосостоянии, есть право нераздельное от человека. Доселе понятие о наказании исчезло для того, что оное предполагает начальника, истребляет понятие естественныя свободы, а потому и равенства. Но сие состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не могло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, – словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали пременить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам состоящую. Рассмотрим теперь человека в сем новом положении и начнем объяснением существа государств.

Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своея сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся; но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие. О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную и для того права и обязанности иметь могущую; следовательно, можно ей сделать обиду.

Общество, так сложенное, долженствовало помышлять о таком средстве, которое бы положило всем оного членам необходимость направлять все их деяния сходственно с общим благом; для того-то люди, пременяя образ своего бытия, не пременяют своей природы, и злодеяния, принудившие их составить общество, не истребились бы, беспорядок остался бы, и разрушение государства последовало бы непременно. Но как скорбь и отвращение от зла и притяжательность веселия суть равно всеобщие, то ясно следует, что наидействительнейшее средство подчинить частное хотение хотению всеобщему и принудить граждан поступать только сходственно с намерениями законоположника, есть учреждение награждений и наказаний. Я пред сим доказал, что общество не может быть разве действительным или безмолвным согласием всех единственников. А как установление наказаний есть средство, необходимое для содержания порядка и для направления деяний каждого, сходственно с общим благом, то ясно, что начало права наказаний основывается на их согласии, ибо кто желает цели, тот желает и средства.

Некто возразить может: определяя волю свою к цели блаженства, возможно ли, чтоб человек условился на предосудительное своему благосостоянию? Ответствую: 1) Вступая в общество, никто не мнит о себе, что будет нарушитель закона, а тем

общественный злодей; но каждый, обязуяся жить по законам, никто из оных не исключен, и сие никому не предосудительно. 2) Всяк властен вдать опасности не токмо несколько своих прав, но и самую жизнь для сохранения оной. В таковом деянии человека выбор стремится к цели своея выгоды, ибо меняет он зло действительное и настоящее на зло будущее, от коего он легко уклониться может. Сии рассуждения влекут заключении, что человек, обязуяся терпети зло, начальником его ему соделываемое за преступление закона, ничего не терпит, но паче выигрывает: следственно, действие сие, стремящееся единственно к его сохранности, есть законно и твердо.

Положив основание праву наказания, я могу приступить к решению второго моего вопроса, то есть, кому принадлежит право наказания. А понеже сия задача есть дальнее токмо следствие первой, то довольно будет, если утвержу оную одним простым доводом, не входя в дальнейшее рассмотрение.

Состав каждого правления требует государя, или вождя, который бывает нераздельною или соборною особою, одаренною верховною властию для направления всех единственных воль и сил к общественному благу. А как сохранность народа и содержание доброго порядка суть первые предметы его попечения, чего без учреждения наказаний и награждений приобрести не можно, то ясно следует, что право наказания принадлежит единому токмо государю, право, которое он может вручить нижним властям. Но они суть токмо исполнители вышния воли государя, законами определенной и пересуду не подверженной.

Я приступлю теперь к последней задаче. Вопрошается: смертное наказание полезно ли и нужно ли в обществе? Для решения сего надлежит рассмотреть цель наказания вообще.

Цель законодателя при учреждении наказаний есть сохранность граждан, утверждение законного владения их имений, предварение природныя склонности человека присвоять все, что может взять невозмездно, наконец, приведение к должностям уклонившихся от оных. Отсюду истекает примерное наказание, стремящееся к отвращению от беззаконных и злых дел всех, ведающих о болезнях, злодеями претерпеваемых. Иные отметают исправление, которое не что иное есть, как средство к приведению преступника в самого себя истязанием; средство к произведению в душе истинного раскаяния и отвращения от злых дел. Другие мнят быти возмездию, состоящему в соделании зла за зло. Сомневаюсь, чтоб те были правы, а докажу, что сии, конечно, ошибаются.

Представим себе государство нравственною особою, а граждан оного ее членами. То можно ли подумать, что человек, раздробивши себе ногу, восхотел бы воздать зло за зло и преломить себе другую. Положение государства есть сему подобно. Все действия государства должны стремиться к благосостоянию оного: а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества, и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет. Следовательно, таковое действие не есть законно, ни полезно, а потому и невозможно; да и полагающие возмездие, кажется, похожи на последователей системы беспристрастной свободы , которые, утверждая, что хотение есть хотение и что хочу, для того что хочу , приемлют, очевидно, действие без причины.

Отметающие исправление основываются на невозможности судить об оном и определить время, когда преступник придет в себя. Суд, говорят они, объемлет внешние токмо действии; никто не судит о намерении, и законодатель не может пещися о исправлении.

Дабы ответствовать с точностию на сие заключение, надлежит сперва разыскать, может ли человек исправиться? Для сего рассмотрим его в себе самом и вопросим природу. Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностию. Следственно, злодеянии не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся, а опыты нас удостоверяют, что многие люди повиновалися несчастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться. Если он повинуется предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъемля причину, другие воспоследуют действия. Сверх же того, дабы доказать, что исправление невозможно, надлежало бы определить силу злобы, потребной в преступнике для соделания действия, запрещенного законами. А как

может оное быть? Творец действия иногда не ведает сам побуждений, его влекущих, то есть, что он неясно видит соитие обстоятельств, побудивших его к действию. Если же невозможно положить явного предела исправлению, если же, напротив того, очевидно, что человек может исправиться и что люди разнствуют токмо в количестве, то не справедливо ли будет в сем случае клониться к большей вероятности. Сие-то я и намерен рассмотреть, восходя от действия ко причинам.

Представим себе человека, на несколько степеней страсть имеющего и совсем к добродетели равнодушного: добродетелию я называю навык действий, полезных общественному благу. Таковой человек столь же непременно впадает в злодеяние, как брошенный камень падает на землю. Решить должно, можно ли сего человека исправить? Злодеяние в человеке рождается от притяжания веселия и от глупыя надежды безвозмездия, от чего должно воздерживать его болезнию. Злодей, уличенный в своем злодеянии, осуждается на потеряние своея свободы. Утрата невозвратимая, все превосходящая, а паче для человека просвещенного. Вринутый в глубокую темницу и в снедь скуке, отчаяние объемлет его душу; за оным следует ярость на свое непроворство. Ибо трудно неистовству признаться виновным, но немощь соделати зло превращает, так сказать, естество его хотения, равно как невозможность удовлетворить желанию оное истребляет. Дошед до сея степени, он себя рассматривает; а рассуждение человека о известных обстоятельствах всегда бывает справедливо, если разум его не ослеплен страстию. Здесь все его страсти утихли или настоящим страданием, или воображением отсутствия всех веселий. Он познает свое злодеяние. И можно ли, чтоб он его не познал? Если человек наикрепчайший колеблется, если Катон, если Брут, сии строгие стоики, возмогли подвигнуться и пременили намерение, то какой смертный не пременится? К тому же мы охотно последуем в рассуждениях другим людям, дабы избавиться трудности исследования, угождая природному человека недействию или повинуяся общественному рассуждению. Тако преступник, зря себя покрыта бесчестием и срамотою, у всех в презрении, един среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая поистине сильнее, нежели думают.

Но преступник, скажут мне, может затвердеть во злодеянии, он может даже нечувствителен быть к болезни, которую ощущает. Сие невразумительно; но раскаяние, кое неизбежно, производит непременно отвращение к действиям, приведшим в раскаяние, а телесная болезнь делает оные ужасными. Несчастный, чрез долгое время навыкший с ужасом взирать на прошедшие свои дела, отвращается от злодейства, а впечатление сие, всегда и непрерывно пребывающее, столь привычно ему станет, что от единыя мысли злодеяния вострепещет. Если все люди имеют свойство соединять с одинаковыми предметами одинаковые мысли и воображать нераздельными идеи, кои они в одно имели время, так что одна не может возбудиться без другой; если привычка другая есть природа, коли не первая, как то думает Гельвеций, и если чувствование скорби сильнее по себе оставляет впечатление, нежели чувствование, мысленным воображением познаваемое, то я могу утверждать, что в человеке степени порока пременятся в десять лет во столько же степеней добродетели. Дабы смертная казнь производила свое действие, нужно, чтобы преступлении были всечасны; ибо каждое примерное наказание предполагает вновь сделанное преступление; желать сего есть то же, что хотеть, чтоб самая та же вещь была сама по себе купно и другая вещь в одно время, следовательно, желать противоречия.

Но, скажет некто, если телесные болезни, смерти предшествующие, сильнее всего в человеке действуют, то надлежит прибегнуть к изысканным казням? Признаюсь, что они весьма чувствительно и сильно действуют; но и то известно, что они преходящие токмо доставляют выгоды, и сие-то, думаю, доказывает их бесполезность. Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при Калигуле, Нероне, Диоклитиане! Какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сии времена во нравах относится всегда к похвале народного правления. Сие и доказывает, что не жестокость казни удерживает преступника или предваряет преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстьми, поелику то возможно. Свирепость наказаний показует всегда народное повреждение и причиняет избежание казни, а надежда укрыться от оныя умаляет ее действие и воспрещает жертвовать злодейским, но настоящим веселием. Владычество привычки есть всеобщее над человеком, и яко веселие исчезает продолжением, тако поражение теряет свою силу частым повторением. Избраннейшая казнь теряет свое действие и становится, наконец, бесплодною; как же соразмерить наказание преступлению? В телесном и нравственном мире все имеет свои пределы, естество человеческое имеет также свой предел во зле и благе; то ясно, что, полагая изысканные казни, надлежит на чем-нибудь

остановиться. Тут будет несоразмерность наказания с преступлением; будет сие не правосудно, а потому сумасбродно.

Понеже ясно, что смертная казнь никогда долговременного не производит впечатления и, поражая сильно и мгновенно души, бывает тем недействительною; понеже жестокость казни становится вредною, непременного ради следствия своея бесполезности, то я могу заключить, что смертное наказание не может быть ни полезно, ни нужно в государстве.

Положив сие начальное правило и устремляя внимательное око на сложение государств и на обряд уголовных дел, я покажу два опасных следствия смертныя казни. Образ всякого правления влечет за собою неравенство имений. Монархическое тем и существует, аристократическое оного отвергнуть не может, в демократическом хотя бы надлежало быть равенству имений, но, судя с точностию, не может быть истинной демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может, и по мнению г. Руссо, сделать народа счастливым, по склонности своей к возмущениям. Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит с одной стороны нищету, а с другой роскошь; сего ради могу я сделать положение, что в двадцати миллионах жителей найдется, по самой крайней мере, двести, в крайнее убожество поверженных: едва возмогут они добыти дневную пищу, и жизнь непременно будет им в отягощение. Они восхотят оной лишиться; закон им доставит сие благодеяние, которого удостоятся они злодействами: и се уже двести преступников, укрепленных мгновением казни и надеждою нескольких годов услаждения.

Второе следствие, ужаснее первого, истекает из обряда уголовных дел. Люди определяют наиважнейшие действия своея жизни по нравственной ясности; следственно, и знаки, преступление утверждающие, на оной же должны основываться: но и, по мнению самого творца книги «О преступлениях и наказаниях», нравственная ясность не что иное есть, как наивеличайшая вероятность; а как нет вероятности, коея бы противоположность не была возможна, то заключаю, что со всеми осторожностями в осуждении преступления можно ошибиться и осудить невинного и что бывают случаи, коих истина едва чрез долгое течение времени отверзается. Ибо какой человек почтется преступити не могущим? Невежество судии введет его в погрешность, сребролюбие повредит его правоту, отеческая нежность, любовь сыновняя, предстательство вельмож, долговременное дружество и многие малые, сим подобные, причины не возмогут ли его обольстить, и не преступит ли он власти своей на судилище?

Рассмотрим свидетельство. Хотя и говорят, что вера ко свидетелю возрастает по мере умаления его корысти, но можно ли назначить предел, где корысть исчезает; может ли кто проникнуть в тайные излучины сердца человеческого? Или нет уже более душ низких и подлых, всегда личиною прикрытых и тем наименование честных людей приобретших, прельщенных или обоязненных и того ради на ложное свидетельство готовых? Из сего заключаю, что приговор, на свидетельстве основанный, подвержен заблуждению. Признаюсь, что таковые случаи суть редки, но единая их возможность приведет в ужас сердце праведное и от вопля невинного в бедствии содрогатися обыкшее; а если бывают случаи, в коих можно предположить, что невинность разве чрез долгое течение времени открывается, и если опыты доказывают, что часто невинные сопреступниками вменялися и казнены смертию, то благоразумно и праведно иметь готовое всегда средство скончавати мучения невинныя жертвы, а смертная казнь не есть средство таковое.

Сии причины, царствование императрицы Елисаветы Петровны и опыты всех времен, доказующие, како смертное наказание не послужило к удобрению человека, побуждают меня заключить, что установление сей казни совсем в государстве бесполезно, да и казнить смертию для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить невозможно. Я тем более подвизаюся на сие рассуждение, что известно, что люди располагают свои деяния по повторяемому действию зол, им известных, а не по действию зол, им неведомых.

Сим образом исправленный и высшим правосудием освобожденный чувствует преисполненна себя благодарностию; но живо чувствующий благодеяние старается явить признание о нем; всяк хочет быть почитаем и скорбит, зря себя в презрении. Итак, желание почтения и скорбь презрения произведут в преступнике стремление ознаменитися, да будет общественного почтения достоин, да воздаст, так сказать, за худые свои дела, и да погрузятся они в вечное забвение. Тако во Греции воины,

избавившиеся смерти бегством, храброму мужу всегда постыдным, но срамом и стыдом покрытые, бывали всегда в последующее время наизнаменитейшие; следственно, бывает предел довольно известный, где виновный почесться может обратившимся к должности своей, то не достойно ли о сем наистрожайше исследовать? Сердце мудрого законодателя не источит ли кровь, наказуя невинного. Ибо наказание исправившегося преступника есть заклание невинныя жертвы.

Я не намерен распространять силу сего заключения на убийцов. Жребий нарушителю договора и общественному злодею есть смерть гражданская. Ибо несть свято, несть ненарушимо паче жизни гражданина. Я думаю, однако же, что по оному заключению могу судить о воровствах и о других меньших преступлениях, назначая токмо некоторые пределы, да не войду в скучные подробности. Если бедность, столь всегда близко преступления, ввела человека в заблуждение; если стремление страстей юности, всегда буйственной, но всегда гибкой, вринуло его в преступление, то не побудит ли сие мыслить благосклонно о преступнике? Следовательно, кажется, не можно с основанием исключить исправление из намерений законодателя.

Мы видели, что предметы установления наказаний суть или средства воспретить преступнику впредь вредить обществу, или пример для других, да отвратятся от соделания подобных злодеяний, или, наконец, исправление. Дабы решить теперь, полезно ли и нужно ли в государстве учреждение смертныя казни, рассмотрим каждый из сих предметов особо.

1. Я уже показал, что исправление неотменно входит в расположение законодателя, понеже совершенное разрушение вещи истребляет понятие о исправлении; ибо отъемляй жизнь у преступника разрушает его бытие, его истребляет, то заключаю, что в сем случае смертная казнь предосудительна.

2. Предварить, чтобы преступник впредь не вредил обществу, для сего надлежит сделать его только немощным. Темница для сего избыточна. Следует, что в сем случае смертная казнь не нужна.

3. Наказание для примера отвратить от подобных преступлений согражданина виновного; для сего надлежит изыскать наказание, которое бы сильнее, действительнее и продолжительнее душу поражало. Обыкновенно думают, что законная смерть оставляет по себе впечатление наисильнейшее, или действительнейшее, или долговременнее пребывающее. О сем я сомневаюсь, и вот тому вина.

Смерти всегда предшествует болезнь, жизни сопутствуют всегда какие-нибудь веселии. К жизни мы, следовательно, прилепляемся ради страха болезней и вожделения веселий. Чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии живущих. Напротив того, чем жизнь несчастнее, тем меньше жалеют лишиться оной. Оттуда нечувствительность нищего в ожидании последнего часа. А если любление бытия основано на страхе болезни и вожделении веселия, то следует, что желание быть счастливым сильнее в нас, нежели желание быть. Следует, что пренебрежение жизни есть заключение исчисления, доказующего нам самим, что лучше не быть, нежели быть несчастным. Сей довод не есть воображение умозрительства, но токмо обществование происшествий, на опытах людей мудрых и людей мало просвещенных основанное, что и доказывает оного общественность. Не с охотою ли Катон отъял у себя жизнь из любви к отечеству? Сцевола, влекомый корыстию общего блага, не подвергался ли не токмо смерти, но и острейшей муке? Не терпел ли Регул наижесточайших мучений, да исполнит свое обязательство? Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев, сих извергов природы, суеверием упоенных и обагривших руки свои в крови царей своих, и толико же безумных убийцов. Сие доказательство, довольно кажется заключительное, утверждает, что смертная казнь не с наибольшею действительностию поражает разумы и что впечатления ее не наисильнейшие суть; по крайней мере, они не во всех равны бывают, а потому, не будучи наисильнейшие, да и всегда мгновенные, не могут, конечно, быть действительными.

Но положим, что оные впечатления суть наисильнейшие, как то они суть в самом деле во всех не имеющих великих страстей ни к добру, ни ко злу, коих число, конечно, в каждом государстве велико, то утверждаю, что тем самым они и вредны: ибо чем поражение сильнее, тем кратче оно бывает. Правда, что оно объемлет все наши душевные силы, но они подобны изящной музыке; ее действие мгновенно нас восхищает, мгновенно и исчезает. Тогда престает соображение, и человек в совершенное погружается забвение. Смертная казнь удивляет, но не исправляет; она

окрепляет, но не трогает; но впечатление медленное и продолжительное оставляет человеку полную власть над собою. Он соображает, сравнивает; следовательно, сие впечатление по существу своему есть действительнее и тем полезнее. А если продолжительное впечатление глубокие в сердце человеческом оставляет черты, то долженствует следовать, что оно действует на человека сильнее. В таковых обстоятельствах был Александр Великий в рассуждении Филота, единого из первейших своих полководцев, ближайшего своего друга и сына Парменионова, великим войском тогда предводительствовавшего; таков же был случай Генриха IV в рассуждении Бирона. Обличенные оба в оскорблении величества (то есть в наивеличайшем преступлении, ибо великость оного измеряется всегда вредом, государству от того происходящим), но оба могущественны, не можно было, по мнению моему, их сохранить без опасности. Сие может быть единое изъятие, а изъятие правила точность оного доказует. Присовокупим к сему: дабы наказание было справедливо, надлежит оному иметь токмо достаточную силу для отвращения людей от злодеяний. Но какой человек восхощет променять потеряние совершенное и невозвратное своея свободы на злодеяние, какия бы он ни ожидал от него выгоды. Из сего следует, что действие наказания вечныя неволи достаточно для отвращения от преступления наиотважнейшую душу.

Я не войду в раздробление преимущества такого положения, ибо оно всякому благоразумному читателю представится очевидно, потому что нет злодея, кой бы к чему-либо не был пригоден, что самой природе совместно. Если соделаешь зло обществу, возмездится за оное злом, то есть принужденною работою, сверх же того ясно, что вечная неволя тем и предпочтительна, что действии ее, в глазах народа всегда обретающиеся, суть поразительнее и долговременнее. Теперь рассмотрим: вечная неволя не жесточее ли самыя смерти? Конечно, жесточее в глазах общества, но не для терпящегося. Общество судит по своей чувствительности о сердце, привычкою закоренелом, а несчастный утешается отсутствием болезней злее тех, кои он ощущает; раскаяние приходит к нему на помощь, и труды его облегчаются упражнением. А как чувствительность в человеке возрастает по мере крепости его рассудка, нежности телосложения или перемены его состояния, то я заключаю: чем человек будет просвещеннее, тем положение сие будет для него несноснее; чем более он мог жить в довольствии, тем более сие состояние его скорбить будет. Тем более заслуживает он облегчения, ибо хотя злодей он, но человек. Сего требует правосудие, ибо наказание долженствует всегда быть соразмерно преступлению. А как весьма редко, чтобы одинаковые предметы одинаковые на разных людей имели действия, к тому же ясно, что человек с разумом или человек, сладострастное житие имевший, гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий, к нужде и нищете привыкший, – то заключаю: если таковые люди за одинаковые преступления одинаково накажутся, один наказан будет жесточее другого, и казнь вине не будет соразмерна.

О любви

Любовь есть чувство природою в нас впечатленное, которое один пол имеет к другому. Все одушевленные твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оныя. Но различное сложение тела, следовательно, больше или меньше раздражительности в нервах, различное соитие обстоятельств, воображение воспламеняющих, – словом, различное соитие внешних предметов, на нас действующих, долженствует неотменно производить различное чувствование. Рассматривая любовь при ее источнике, увидим, что сие чувствование равно сродно ленивому ослу и разъяренному льву; португальцу, крепкими напитками и пряным зельем воспаленному, и лопарю, утомленному холодом и трудами. Сие чувствование, следовательно, есть необходимое, для того что оно в нашем природном сложении имеет свое начало. Любовь все употребляет средства к удовлетворению ее служащие, преображает еленей в тигров, умножается от предстоящих препятствий, удовлетворению ее претящих, умаляется, превзошед препоны. Федер справедливо примечает, что любовь в естественном состоянии человека ужасна не была для того, что взаимная похоть ее скоро укрощала, но по восстановлении общества она долженствовала сделаться ужасною, как то она и есть. Самолюбие, со всем себя в сравнение ставящее и себе всегда преимущество дающее, долженствовало неотменно озлоблять самолюбие другого. Оно рождало зависть, а зависть ненависть, и так умножалися все наши страсти. Они столь много произвели божественных дел и столько зла сотворили, что их вообще ни хвалить, ни охуждать не надлежит. Нравоучители, противу страстей восстающие, рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубяся в отдаленнейшую метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все, не сходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не объясняют) и с существенным порядком вещей, которого не знают, есть противудобродетель, порок и зло; итак, мы

постараемся отступить от понятия отделенного и будем наблюдать действительные отношения. Назовем добродетелию то, что удовольствие и благосостояние всех (а как сие невозможно), по крайней мере многих людей соделывает, и рассмотрим, полезна ли любовь или вредна?

Человек есть хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих; живущий с мусульманами – мусульманин, с куклами – кукла общества, в коем мы обращаемся. Общежитие вселяет в нас род своих мыслей и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает. Мы усвояем помалу страсти, в обществе господствующие; наипаче мы склонны к восприятию того, что нас прельщает, а все, что нам веселие доставляет или обещает, прельщает нас столь действительно, что объемлет все наши душевные силы. Всяк довольно, хотя и не весьма ясно, понимает, что мы благосклонность других людей приобретаем сходствием наших мыслей и деянием с их мыслями и действием, а сие подтверждается опытами. Из того очевидно следует, что двое влюбленных единого составляют человека, единую имеют волю и одинаковые поступки, ибо привычка преображает природу. Случай, имеющий в общежитии свое начало, восхотел, чтобы мужчины были, что женщины суть, на коих они свои взоры обращают, а не женщины то, что суть мужчины.

Итак, любовь, в обществе не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелию или пороком, располагаяся по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему. У греков, у коих мать слезы проливала, когда сын ее без лавр возвращался, где дева прославившемуся сердце свое дарила, и везде, где благоразумный законоположник женщин определил вперять в сердца юношей ревность к добродетельным и отвращение от порочных поступков, заслуживают они уважение, почтение и любовь; но в нашем веке, где красота, которая ужаснее стихии, ее родившей , воспитывается в играх и забавах, где вся разума ее округа внешним ограничивается блеском, где свобода в убранстве, где прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувствование, где она принуждена ежечасно притворяться и сокрывать свои невиннейшие склонности, где она злословна для того, что неведуща, честолюбива для того, что не имеет должного к себе почтения, и коварна для того, что живет всегда в принуждении и беспрестанно безделицами упражняется; где она неограниченно обожателями своими управлять желает, – достойна ли она, чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми безделицами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться, посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна? В наблюдении бесчисленного множества вещей, кои по рассмотрении найдем безделицами, но трудными безделицами, может ли кто без внутреннего отвращения видеть старого, впрочем заслуженного и испытанного министра, которой от чрезмерной нежности невинного осудил на смерть, дабы пощадить злодея, отца своея обладательницы. Кто не возропщет на него! Кто столь сильно объят любовию, что разум его никогда не в состоянии покойно наблюдать вещи, а сердце всегда в движении, и кто своими приобретенными знаниями мог бы свету быть полезен? Но кто может противиться сим голубым глазам, сему томящемуся и восхитительному взору, сему проницательному и привлекающему гласу? Кто может облобызать белую сию и нежную руку, на коей поцелуй впечатлевается, и не потерять своего сердца? Кто может видеть сию непринужденную походку, сию величественную осанку, воровские глазки и, что всего больше, слышать и видеть добродетельные предупреждения и не восхититься и не воспалиться? Тот, кто в младости к тому приуготовлен, кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услаждение находит в том, чтобы быть отечеству полезным и быть известным свету.

Письмы, касающиеся до первой книги Гельвециева сочинения «О разуме»
Письмо 1

Милостивой мой государь.

Я намерен с вами беседовать о вещи, весьма важной и многим трудностям подверженной; ласкаю себя, что вы мне на сие дадите дозволение, ведая довольно, что глубочайшие размышления не токмо вам не наскучат, но возбудят разве ваше любопытство. Вещь сия есть важная, ибо непосредственно касается до человека; трудная, ибо познание сердца человеческого и побуждений к действию и недействию весьма запутано. Сие превзойдет, может быть, мои силы: но самое сие побуждает

меня прибегнуть к вашему просвещению, которое, по счастию моему, я узнал и почитаю. Я ищу наставления, следовательно, я сомневаюсь. Но как нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние, то и прошу я вашея помощи. Но не отважно ли сие? И поистине сей мой поступок, от чрезмерного желания познаний происходящий, был бы непростителен, если бы я менее уверен был в милости вашей ко мне; если бы вы, во время пребывания вашего в Лейпциге, не удостоили меня дружеского обхождения и если бы вы мне не дали полезного для меня дозволения прибегать к вам во всем, что до меня касаться может. Я осмеливаюсь почитать себя воспитанником вашим, ибо все, нас наставляющие или дающие нам способы к наставлению, по справедливости истинными родителями почитаться могут. Но сие есть наималейшее из одолжений ваших. Вы извлекли душу мою из бездействия и уныния, в коих она погрязла, и, по несчастию, не без причины. Вы возвратили ей всю ее деятельность, отъемля причину, ее угнетавшую. Вы вселили в меня неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягощал память мою. Но сколь велика долженствует быть, наконец, моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною? После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием и для того только воздерживаюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу.

Скажу только то, что, удивляяся его проницательности, ясности и изящности его слова, нередко сожалею о его краткости. Из него-то почерпну содержание сих писем, которые заключать будут сокращение сочинения «О разуме» или, по крайней мере, оного первыя и третия книги. Но исполнение сего предприятия весьма трудное, требует напряжения разума и довольного времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения, по крайней мере, в помянутых двух книгах. Для объяснения моих сомнений в великие нужно войти подробности; и я за нужное почел прежде всего предложить вам со всевозможною краткостию стезю, которою он шествовал во утверждении своих основательных мнений и во извлечении следствий. Цель моя была двояка при сем маловажном труде. Первая, чтобы тот, кто читал сию книгу и о ней уже размышлял, мог бы себе посредством сея выписки мгновенно представить всю цепь мыслей сочинителя; вторая, чтобы начинающий, имея сию выписку пред собою, не был бы от главного предмета отвлекаем окольностями и прекрасными побочными разглагольствованиями сочинителя и не проронил нить умствования его, запутавшись во множестве деяний, им приводимых, где по действию заключается о причине. Вы можете судить, достигнул ли я моего предмета; мне же должно ожидать вашего суждения с почтением пребывания чрез всю жизнь мою наичувствительнейшею благодарностию.

есмь и проч.

Письмо 2

Сочинитель рассматривает разум, яко способность мыслить, которая посему и долженствует быть качеством какого-либо существа, духовного или вещественного, ибо другие роды нам неизвестны. Сия задача, не решенная до сего времени, не может иметь о себе доказательства; тем паче, что сочинитель, полагая все действии нашего разума в чувствовании, сие равно с тем и с другим предположением согласуется. Но сие-то и требует, мне кажется, доказательства. Почитая душу вещественную, рассмотрим, может ли она чувствовать. Я прежде всего замечу, что вещество и тело суть два слова равного значения; ибо сказать можно, что всякое вещество есть тело и всякое тело есть вещество. А понеже пространство, заключающее в себе понятие неразделимости, непроницательность, производящая, что два тела не могут в одно время занимать одного места, бездеятельность – качество тел, посредством которого они тщатся пребывать в настоящем положении, и следствие непременное самой их непроницательности, суть три свойства тел необходимые; понеже тело заключает в себе понятие общее и поелику то, что прилагаем роду, прилагаем всем единственностям, к нему принадлежащим, то следует, что все единственности, поелику суть тела, заключают в себе вышесказанные три качества. Следует, если бы начало чувствующее было телесно, то было бы протяженно и разделимо. Следует, что бы понимать можно было треть и четверть чувствования, что противоречит опытам.

В теле примечаем мы только движение, что не иное есть, как перемена места, быстротечность и направление. Но равное ли видим в нашей душе? И для того-то в

каждом ударении чувств две вещи различать надлежит: телесную, или ударение в мозге; духовную, или понятие, в душе от того рождающееся. Кто захочет о сем сделать на самом себе примечание, познает оное непременно. Когда разум напряженно рассматривает некоторые предметы и рассуждает о понятиях, оными производимых, то он не замечает нимало о ударении некоторых предметов на орудие слуха, хотя равное бывает их действие с теми, кои производят звук, и хотя орудие здраво. Причина же тому есть, что душа оному не внимает. Но сочинитель думает, что откровение таковой силы, какова, например, сила притяжения, не долженствует ли побуждать мыслить, что тела имеют еще некоторые свойства неизвестные, как-то: свойство чувствовать. В первом письме моем я намерен разыскать сие выражение.

есмь и проч.

Письмо 3

Все согласуются, что есть во всех телах небесных всеобщая тяжественность; что качество сие, очевидное в магните притяжением железа и стали и, по мнению утвердителей тяжественности, свойственное всякому телу, осязательно становится только в весьма больших телах, в малых же совсем не ощутительно. Истинная же причина, оную производящая, нам неизвестна, и философы доселе в оном несогласны. Одни утверждают с вероятностью, что некое тонкое и невидимое вещество действует на тела, и их одного к другому устремляет, и они называются устремителями . Другие говорят, что есть в телах сила, скрытая и сокровенная, между ими притяжательность производящая. Оные присносущность утверждают на всемогуществе божием и называются притяжателями . Но если бы притяжательность была действие всемогущества божия непосредственное, в существе тел не утвержденное, то можно бы сказать столь же справедливо, что бог тела движет непосредственно, что и было бы непрестанное чудо.

Если мы вообразим два тела без движения и среди их совершенную пустоту, то нелепо будет утверждать, что они могут сблизиться или притянуть одно другое; ибо тела вследствие своея существенности тщатся пребывать в настоящем положении. Не можно приступить к противному мнению для того, что понимать не удобно причины, для чего тело недвижимое будет двигаться в ту, а не в другую сторону; еще же неудобопонятнее, что движущееся тело престает двигаться или пременяет направление или скорость. Итак, если достоверно, что всякое тело по существу своему сохраняет свое положение и что перемена в оном происходит токмо вследствие его непроницательности, то ясно, что тяжественность, то есть сила, тело к центру направляющая, хотя нам неизвестная, не есть свойство в телах присносущее. Да и по мнению тех, которые притяжательность почитают силою в веществе вкорененною, сила сия не в теле, над коим действует. Следует, поелику известны нам силы только двух родов, силы телесные, из непроницательности тел проистекающие, и силы духовные, существующие токмо в животных, то притяжательность долженствовала бы принадлежать к третьему роду сил, но ни к телесным, ни к духовным. Но дабы утверждать сие, то надлежит непрекословно доказать бытие сих сил и что сила притяжания не происходит из тонкого вещества, тело окружающего. Если бы единожды возможно было, чтобы два тела притягивать могли друг друга и расстояние между ними не было бы наполнено тончайшим веществом, то существенность притяжательности была бы неоспорима. Но как сие невозможно, то можно в том сомневаться или совсем отрицать.

Если же довольную имеем причину отметать силу притяжательную, то с лучшим основанием отрицать можем в вещественности свойство чувствовать. Но если верно, что вещественность чувствовать может, где найдем мы чувствующую соединенность и неразделимость? Присвоим ли оную каждой вещества частице или соборным телам? Или присвоим сию соединенность жидкостям и твердостям в сложных и в началах? Говорят: в природе нет опричь единственностей; но каковы они? Единственностью ли назовем камень или сложением единственностей? Чувствительное ли он вещество или содержит столько оных, сколько в нем песчинок? Если каждая начальная порошинка (атом) есть вещество чувственное, то как вообразить сие тесное сообщение, от которого один чувствует себя в другом, и столь совершенно, что оба суть один? Части чувствующие суть протяженны, но существо чувственное неразделимо, одно, всецело или же ничто. Сии непреоборимые трудности с предыдущими причинами совокупно утверждают меня во мнении, что, познав вещественность протяженною и разделимою, надлежит удостовериться, что она чувствовать не может, ибо, утверждая противное, станешь присвоять одному существу свойства, одно другое исключающие.

есмь и проч.

Письмо 4

Сочинитель полагает быть в человеке двум силам страдательным, которых он признает производящими наш разум причинами. Первая – свойство принимать ударения внешних предметов, и сия есть телесная чувствительность. Другая – свойство хранить сделанное на чувствах ударение – называется память. Память, по мнению сочинителя, есть не что иное, как единое от орудий телесной чувствительности и чувствование продолженное, но ослабевшее. То, что в нас чувствует, говорит он, то непременно и воспоминает. Се доказательство его.

Когда я воспоминаю образ дуба, тогда внутренние мои органы находятся почти точно в таком же положении, в каком они были, когда дуб сей представлялся моему зрению. Таковое положение органов производит чувствование. Следовательно, воспоминать есть чувствовать. Сие заключение для меня не кажется убедительным, и здесь доказательство основано на том, что в задаче. Положим, что, воспоминая образ дуба, внутренние мои органы в равном положении находятся с тем, в каком они были, видя сей дуб; однако же сим вопросом не удовлетворится, для чего и как, и довод недостаточен; ибо ясно, что здесь не заключает сочинитель одинаковых действий на одинаковые причины, ибо действия суть разны. Когда дуб находился пред моими глазами, тогда внутренние мои органы, позыбнутые лучами, исходящими от дуба, образ его начертавали в глубине моего глаза на нервенной сети, совокупляющейся с зрящим (оптическим) нервом, которой есть продолжение мозга, и чрез него зыбление доходило до мозга, где душа извлекала понятие. Но, удаленный внешнего предмета, что действует на мои органы? И если бы при воспоминовении внутренние мои органы были в таковом же положении, как при ударении предметов на чувствы, то, не имея ничего пред глазами, я видел бы солнце. Следственно, понятие напоминовенное совершенно разнствует от понятия, возбуждаемого предстоящим предметом. Изъяснение памяти, что она есть чувствование продолженное, но ослабшее, для меня не удовлетворительно. Ибо или чувствование продолжается безостановочно, или когда-либо останавливается и возобновляется. Если бы бывало первое, то бы понятия нам были присутственны непрестанно, чего, однако же, нет; ибо тщетно иногда стараемся возобновить иные понятия, которые мы имели прежде; иногда же совсем их позабываем, но обыкновенно забываем их наполовину. Если бы ударение терялося совсем, как то случается, как бы вещественность могла воспоминать, что было на нее ударение в то время, когда оно на нее бывает вновь? Говоря, что память не что иное есть, как чувствование продолженное, но ослабшее, все присвоим чувствительности, но чувствительность производится движением нервов. Сие движение может умножиться и уменьшиться по мере ударения сильного или слабого всех частей предмета; следовало бы, что когда воспоминаю о солнце, то же было бы, что я вижу луну, коея свет в 200 000 раз слабее света солнечного. Но видеть луну теперь и воспоминать только о солнце суть две совсем разные вещи. А потому ясно, что понятия чувственные представляются нам посредством чувств; воспоминовенные же производим мы сами по образу понятий чувственных, поелику мы об оных воспоминаем. Понимаю я довольно ясно, что понятия, памятию произведенные, суть таковые же, как и настоящие, но сие относится к душе. Что же касается до тела, то всякое настоящее памятию сопряжено с некоторым движением в мозгу, чего не бывает с произведенным памятию.

Признаться надлежит, что истинной источник памяти от нас скрыт совершенно. Ведаем мы, что и тело в оном участвует; но и то верно, что возобновление понятий есть собственное действие души.

Письмо сие окончу я различием, сделанным в воспоминовении. Оно двояко. 1) Сила сохранять на несколько времени понятие настоящее. Локк сие называет рассмотрение . 2) Сила возобновлять и оживлять в разуме понятии, которые, родясь в оном, исчезли и из оного совсем удалилися. Сие собственно назвать можно памятию.

есмь и проч.

Письмо 5

Сочинитель, разыскивая прилежно действия разума человеческого, ограничивает их на способность замечать сходствия и различия, приличность и разнообразность предметов между собою. Слова всех языков, которые почесть можно собранием всех мыслей человеческих, подтверждают сию истину для того, что они представляют нам одни токмо образы внешних предметов, отношений их одного к другому и отношение

их к нам. Разум человеческий превыше познания сих отношений не возносится и черты сея не преступает. Но и суждение не что иное есть, как самое сие усмотрение или изъявление оного: то и следует, что все действия разума суть токмо суждения. Но и судить есть не что иное, как усматривать сходство и разность, принадлежность и неприличность наших чувствований и понятий. Следственно, поелику сила сия не что иное есть, как телесная чувствительность, то и судить есть чувствовать; следственно, все действия разума суть чувствовании.

Рассуждение сие нахожу я весьма заключительным. Все предложении в оном ясны и основаны на истине и опытах, одно исключая, то есть, что способность сравнивать понятии наши и чувствовании есть телесная чувствительность. Сие требует рассмотрения, и поелику оно есть главное его предложение, то позвольте мне оное раздробить.

Я за доказанное приемлю, что все действия нашего разума состоят в способности усматривать сходствия и несходствия, принадлежности и разнообразия в предметах. Теперь доказать должно, что для сея способности нужна только телесная чувствительность.

Нет ни малого в том сомнения относительно познания различий между предметами. Получив два чувствования или два понятия, не могу не чувствовать, что то, что чувствую в одном, в другом того не чувствую; или сказать яснее, что одно ударение иначе душу возбуждает, нежели другое. Чувствуя сие, чувствую их различие. Следует, что для усмотрения различия между предметами нужно токмо чувствовать. Но можно ли то же сказать о их сходствии? Определим, что значит сие слово. Что назовем сходствие одного предмета с другим? Сходствие существенное или случайное бывает, когда части, один предмет составляющие, равнородны или разнообразны другому; или когда части одного предмета суть во всем одинаковы с частями другого предмета. Если сие верно, то для познания сего нужна одна чувствительность телесная. Ибо имея два чувствования, разуму присутственные, усматриваю непременно, как они ударяют на мои чувства, одинаким ли образом или разнообразно; следует, оное усмотреть есть чувствовать.

Принадлежностью называем, когда один предмет к другому пристоен, приятен, полезен или нужен или когда таковым нам кажется (в дальнейшее изъяснение сих названий я не вхожу, дабы вместо объяснения их не затмить). Но опыты доказывают, что разные чувствования разнообразно на душу действуют. Иные рассматривает она с удовольствием, на другие взирает с отвращением; и посредством того же опыта мы можем определить принадлежность или разность между предметами. Я из того заключаю, что судить есть то же, что чувствовать.

Для изъяснения сего рассуждения я постараюся отдалить все возражения, которые против него сделать можно.

1) Если душа есть существо страдательное, то или каждый предмет она чувствовать будет раздельно, или будет чувствовать целый предмет, хотя сложной. Но, не имея силы их соблизить, она сравнения между ними сделать не может, не может о них судить. Что значит весь сей вздор? Каждой предмет будет она чувствовать особенно, то есть, что одно чувствование не будет другое или что одно чувствование не существует в другом, равно как одно тело не может занимать одного места с другим в одно время. Весь предмет будет чувствуем, то есть оба чувствовании присутственны будут разуму. Следует, что душа не будет иметь силы их сравнить и что не может судить о их смежности. Но из сказанного мною можно заключить совсем противное и сказать: следовательно, не будет ей нужды их соближать, следовательно, она будет судить об отношениях двух чувствований или иметь их присутственными разуму, то есть будет их чувствовать; но то и другое равно, как то доказано прежде. Но говоря, что душа не имеет силы соближать чувствования одного с другим, если разумеем, что душа не властна устремлять или отвращать своего внимания, продолжать или окончать своего размышления, тогда задача становится важнее и касается до следующей: свободны ли мы или нет? О сем я с вами в особом письме беседовать буду.

2) Понятия уравнительные: больший, меньший; понятия числительные: один, два; понятия отвлеченные: добродетель, красота – конечно, не суть чувствования, хотя разум производит их тогда, когда я чувствую. Дабы удостовериться о слабости сего рассуждения, войдем в некоторые подробности. Что может быть простее понятия, что отношение не что иное есть, как чувствование или изражение чувствования,

произведенного во мне рассмотрением двух предметов. Я сооружаю понятие великого; но оно не само по себе, а уравнительное; следственно, кто имеет понятие великого, тот неминуемо имеет понятие малого. Следует, если имею понятие о большой палке и о малой вдруг, то такое нужно сравнение, дабы чувствовать, что большая палка больше маленькой. Но как получил я понятие о большом и малом? Получив два разные ударения и примечая или чувствуя, что один предмет имеет больше частей, нежели другой, я назвал один большим, а другой малым, хотя бы назвал их иначе, вещь в самом деле не переменилась бы. Но как составляем мы численные понятия? Замечая различия чувствований. Например, цветок ударяет на орудие моего обоняния, я чувствую сие ударение и сохраняю его посредством памяти. Другой цветок производит равное ударение; я и оное чувствую. Но, сохранив прежнее ударение, теперь чувствую не токмо ударение настоящее, но чувствую также, что чувствовал подобное. Чувствовать, что было во мне подобное чувствование, есть то же, что иметь понятие о двух чувствованиях; и так далее. Разум следует той же стезе при составлении общих понятий. Ибо очевидно, если ударение разных предметов на мои чувства одинаково, то невозможно мне не чувствовать, что чувствование мое при воззрении какого-либо предмета есть подобное тому, которое имел, видя другой предмет. Но изображение сего чувствования есть составление понятия общего или отвлеченного, которое существовать будет токмо в моей голове и которое, однако же, чувствовал я в самом деле.

3) Если бы в употреблении наших чувств мы были токмо страдательны, то не было бы между нами никакого сообщения, не можно было мне знать, что тело, которое я осязаю, и тело, которое вижу, есть то же. Или мы ничего вне себя чувствовать не будем, или будем чувствовать всегда пять существ отделенно, коих единственности нам приметить невозможно. Возражение сие весьма сильно, в том признаюсь. Но приняв, что в употреблении наших чувств мы действующие (хотя сие мне кажется нелепым, ибо не быть в употреблении чувств страдательным есть то же, чтобы быть властну не чувствовать того, что чувствую), легче ли можем понять сообщение между чувств и как душа замечает единственность понятия. Представь себе слепого, узнавшего опытами, каким образом шар и угольник ударяют на его осязание. Слепой сей, получив зрение, не возможет, конечно, посредством оного различить шар от угольника; ибо, если чувства ударяемы, например, шаром известным образом, не следует из того, чтобы глаза его ударяемы были равномерно. Следственно, опыты нас тому учат, следственно, рассуждение, следственно, и сие есть чувствовать. Хотя совершенного уверения о единственности вещи в нас нет, но для чего тому удивляться, если доводам идеалистов мы опричь брани ничего противупоставить не можем.

4) Наконец, последнее возражение есть сие: если бы суждение об отношениях было простое чувствование и происходило бы единственно от предмета, то суждении мои никогда не были бы ложны, ибо то не ложно, что когда чувствую, то чувствую. Но на сие буду ответствовать в следующем письме, следуя стезям сочинителя, которой доказывает, что все наши заблуждении от наших страстей и от неведения происходят. И если сие последнее возражение достаточно будет опровергнуто, то излишнее будет, да и нелепо утверждать, что сила суждений не есть свойство чувствовать.

есмь и проч.

Примечании е. Сочинения Федора Васильевича суть токмо в переводе. Первое и последнее из оных писал он на французском языке, прочее же на немецком.

Примечания

1 С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслями. Им кажется везде строй; кричат в суде на караул и определение нередко подписывают палкою.

2 Сказывали, что сей молодец, за деньги достав себе звание министра при каком-то дворе, должность свою отправлял с похвалою. Сие оправдает мнение тех, кои думают, чтоб быть употреблену с похвалою в делах министерских, надобен ум, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситься и низиться по

обстоятельствам могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.

3 Г. Грим в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвециеву книгу о разуме, по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию.

4 В немецких университетах коллегиею называют собрание слушателей при преподавании какой-либо науки.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://radischevalexander.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!